

УДК 81'1

А.П. Казаркин

**ФИЛОСОФСКАЯ ЛИРИКА Н. КЛЮЕВА  
(О ТВОРЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ ПОЭТА)**

*Рассматриваются религиозно-философские искания Н. Клюева, отразившиеся в его лирике, заново, с учётом всего корпуса сочинений, поставлен вопрос об эволюции мировоззрения поэта. Клюев, испытавший влияние символизма и причастный к богоискательству, разрабатывал мотивы и образы сектантских песнопений и проблематику неогностицизма, однако в условиях послереволюционной России преодолел увлечение ересями (хлыстовство и скопчество) и в последние годы жизни вернулся к традиционному православию.*

Ключевые слова: мифотворчество, утопическое сознание, гностицизм.

Наследие Николая Клюева в полной мере было востребовано лишь в конце XX в., в постсоветское время всё найденное в печати и в архивах издано в его книгах «Сердце Единорога. Стихотворения и поэмы» [1] и «Словесное дерево. Проза» [2]. Первоочередные задачи современного этапа исследования: контекстуализация стихотворений и поэм лидера новокрестьянских поэтов, описание духовного пути его в масштабе национальной культуры. Причастность Клюева к символистской школе признана всеми специалистами, дискуссионным остаётся вопрос: преодолел ли он наследие Блока, причастна ли новокрестьянская поэзия к постсимволизму.

Исследователи советской эпохи «загородили» Клюева в раннем периоде творчества, закрыв тем самым вход в область философской поэзии. С Клюевым произошло то же, на что жаловалась Ахматова: её «заморозили» в Серебряном веке. Школьное изучение Клюева не идёт дальше предреволюционного цикла «Избьяные песни» (1913), а ведь после него он писал ещё двадцать лет. Судьба Клюева – из самых трагических в литературной истории России: не только облыжно обвинён и бессудно расстрелян, зрелая лирика его остаётся, в сущности, непонятой.

Уже в первых трёх сборниках Клюева – «Сосен перезвон» (1911), «Братские песни» (1912), «Лесные были» (1913) – сами по себе подробности крестьянского быта поэта интересуют мало. Реальность не одномерна, дихотомия тела и духа доведена у Клюева до предела, однако её философское происхождение, а также связь с ретроспективной крестьянской утопией недостаточно прояснены. В каждом стихотворении есть второй план, намёк на высший слой бытия, часты прямые отсылки к дохристианской мифологии. В «избьяном космосе» центр – печь (очаг) и корова-кормилица. В большом стихотворении «Белая Индия» (1916) Корова-Предвечность – это символ рождающего и кормящего начала («*Повыйди в потёмки из хмарой избы – И вступишь в поморье Господней губы, Увидишь Предвечность – коровой она Уснула в пучине, не ведая дна*») [1. С. 308]. Вторичная мифологизация порожд-

дена в данном случае не фольклорной, а книжной культурой, явление это ближе к стилизации и может быть понято как высший слой её.

Основополагающее у раннего Клюева – соизмеримость Бога и человека, Бог натуралистичен, а природный мир – духовен. Мифологический пласт не просто ощутим, он модернистски укрупнён. Мировое древо и гнездящиеся на нём птицы – это архаика индоевропейских народов. Символ судьбы – гагара: в яйце её скрыта смерть, а «птица Сири́н» – посредник между миром горним и дольным. Выше – только ангелы. Бесы же в клюевском космосе не летучи, это духи хтонические: «*Не верьте, что бесы крылаты. У них, как у рыбы, пузырь*» [1. С. 292]. А.И. Михайлов говорит о «христианизировании художественного мировоззрения Клюева» и делает важное уточнение: «Клюев шёл прежде всего от символизма с его концепцией двоимирия» [3. С. 270]. Вопрос о результате исканий, о завершении пути поэта здесь не затронут.

Уже в первом сборнике подчёркнут контраст видимости и сущности в облике героя: «*Наружный я и зол и грешен, Неосязаемый – пречист...*» («Поэт», 1909) [1. С. 115]. Именно это символисты и восприняли как *своё*. Причастность поэта-пророка к обоим мирам реализуется через мотив преображения: «*Как росу с попутных трав, Плоть томленья отряхнула, И душа, возликовав, В бесконечность заглянула*» [1. С. 143]. Мотив изгнания постепенно становится сюжетобразующим началом циклов. Лирический герой, оказывается, изгнанный ангел («*Я был прекрасен и крылат В богоотческом жилище...*»), в мире дольном он томится и утешает себя надеждой на возвращение:

Блаженной родины лишён  
И человеком ставший ныне,  
Люблю я сосен перезвон,  
Молитвословящий в пустыне [1. С. 135].

Поэтому не сразу узнаётся образ демона, столь знакомый по символизму. Ведь светлый ангел (не падший) не лишён «блаженной родины» – доступа в Эдем, но никакого искушения этот бывший небожитель не несёт в себе. «*Плоть томленья отряхнула*» – это значит, что лирический герой возвращается в небесный дом свой. Идея высокого преображения явно преобладает над христианской задачей спасения. Святость достигается через уход из этого мира: «*С той поры не наугад Я иду путём спасенья. И вослед мне: свят, свят, свят, Шепчут камни и растенья*» («Бегство», 1911) [1. С. 142]. Принадлежность души земному и небесному мирам – источник коллизии. Клюев предстаёт двуликим Янусом – традиционалистом и модернистом-богоискателем, старообрядцем и еретиком-хлыстовцем одновременно. Обычно исследователи, укрупняя один план, затеяют другой.

Пафос «Братских песен» – возвращение отпавшей частицы в небесный «отчий дом». Лейтмотив этого цикла – воспоминание о былой причастности к горнему миру: на раденьях души «корабельщиков» вспоминают, как «*в свете незакатном пребывали, мёд небесный, воду райскую вкушали*». Бытие – круговорот: были людьми, затем «*стали плотью мы заката зарянее, Поднебесных облак-туч вольнее*» («Радельные песни», 1912) [1. С. 177–179]. Небо в ранней лирике Клюева – родной дом, а Христос – «братец одноотчий». Вскоре появились эскапады заведомо не христианского происхождения: «*Я родил*

Эммануила, загуменного Христа, Он стоокий, громокрылый, Кудри – буря, меч – уста...» [1. С. 343]. Стихотворение, пожалуй, не без вызова, названо «Спас», но образ поэта-демиурга в нём демонизирован. Если даже считать православие отправной точкой развития поэта, то к 1920-м гг. он отошёл от него далеко.

Ко времени революции сложился имидж Клюева – знаток «поддонной Руси» («Я – посвящённый от народа, На мне великая печать, И на чело своё природа Мою прияла благодать...») [1. С. 391]. И в прозе Клюева бросается в глаза мотив пророческого самоутверждения: «Самоцветный поддонный ум может быть судим только всеневесным собором» («Четвёртый Рим») [2. С. 59]. Уже в ранних стихотворениях Клюева поэт связует миры ангельские и демонские. Но если бы Клюев застыл в этой точке своих исканий, спор о нём не имел бы столь большого значения. Радельные песни-гимны можно толковать как утопию, мечту о земле, где «твари дышащей смолкли б жалобы». А в 1920-е гг. хлыстовская тема соединилась со скопческими мотивами. Впечатляет скрытый, парадоксальный план: в стихотворении «О скопчество – венец, золотоголовый град...» революция уподобляется духовному самооскоплению народа, рванувшегося к запредельной чистоте:

О скопчество – арап на пламенном коне,  
Гадательный узор о незакатном дне,  
Когда безудый муж, как отблеск маргарит,  
Стокрылых сыновей и ангелов родит! [1. С. 333]

Отрицание природной данности здесь мыслится как залог воссоединения с *всемирной душой*. Неприятие природного порядка (здесь – отказ от полового диморфизма как залог преодоления телесной несвободы) – это исходные гностические интуиции.

О широте религиозно-философских исканий Клюева интересно, но не бесспорно, говорит С.Г. Семёнова в статье «Поэт “поддонной” России (религиозно-философские мотивы творчества Николая Клюева)»: «В свой духовный мир он стянул огромные величины: культуру фольклора, церковной литургии (эстетического богословия), старообрядчества, сектантства, прежде всего опыт хлыстовского мистицизма, и, наконец, активно-христианскую мысль Н.Ф. Фёдорова» [4. С. 67]. Но эта пестрота, характерная для заключительной фазы жизни национальной культуры (претенциозно названной религиозно-философским ренессансом) только заостряет вопрос о доминанте мировоззрения поэта. С.Г. Семёнова солидарна с мнением о гностических корнях клюевского пантеона: «По общему мнению исследователей русского сектантства, христовство-хлыстовство в низовой огласовке (а именно с христовыми братьями-голубями был связан Клюев) несло в простонародно-крестьянском варианте древние гностические интуиции. В них важен упор на активность человека в совлечении с себя природного “скотского тела” – дабы “уготовить себе крылья”» [4. С. 69]. Исследователь считает Клюева ревностным последователем религиозно-утопического учения Н. Фёдорова, т.е. идеи регуляции природы и воскрешения умерших средствами науки. Но есть ли основания причислить Клюева к сторонникам прогрессивистской утопии? Здесь, на наш взгляд, начинается смешение понятий. «Активно-христианская апокалиптика», в акцентировке С.Г. Семёновой, – гностический проект идил-

лического завершения истории. Нет, историософия позднего Клюева иного типа, и к хлыстовству он остыл в конце жизни.

Знаком русских ересей П.И. Мельников-Печерский квалифицировал хлыстовство как «самое древнее русское религиозное разномыслие, занесённое на русскую почву ещё при святом Владимире, одновременно с православием, происходящее от болгарских богомилов, как эти происходят от азиатских манихеев, гностиков и Филона Александрийского»; «Сам бог, уничтожив в них душу человеческую и заменив её собою, вселился в них, и они стали "живыми богами"» [5. Т. 1. С. 29, 74]. Это первое в России указание на гностические истоки хлыстовства. С.Г. Семёнова почему-то связывает «скопческий проект» (с которым церковные власти боролись не менее двухсот лет) с так называемой «активной апокалиптикой». Речь идёт об отрицании закона природы, а не признающий этот закон чаще всего сбрасывается ниже нормы – в сексуальное отклонение. Это крайнее проявление религиозно-утопического сознания. Вот мнение А. Ремизова: «Кондратий Селиванов, сам имевший на себе три печати (трижды оскопившийся – “без всякого остатка”), предлагает людям всемирное оскотление – звери и птицы пускай себе топчутся. И уж само собой после такой операции место Вседержителя Творца опрастывается – делать Ему больше нечего <...> у оскотлённого человека свой независимый богатый мир: дар пророчества и дар восторга» («Иверень») [6. С. 510]. Ремизов, как известно, был увлечён хлыстовством, но скопческий проект привёл и его в замешательство.

Творчество Клюева грани 1910–1920-х гг. отмечено крайней противоречивостью. Коммунист-хлыстодец, старовер и гностик – это, конечно, фигурант Серебряного века. В стихотворениях Клюева начала 1920-х гг. есть и чисто авангардистские выпады: «В потир отольются металлов пласты, Чтоб солнца вкусили народы-Христы. О демоны-братья, отпейте и вы Громоных сердец, поцелуйной молвы!» («Песнь Солнценосца», 1917) [1. С. 363]. В одном четверостишии рядом и «народы-Христы», и «демоны-братья». Поэт-пророк зовёт силы всех миров к всеобщему примирению. Образ чертога брачного, где низкие энергии преобразуются, имеет гностические истоки, как и мотив преодоления ада и всеобщего примирения («Огненная грамота», 1919). Земной мир гностики понимали как результат отпадения от полноты (Плеромы), ошибки несовершенного Демиурга (ремесленника). В мире Клюева нет символа вечной женственности – жены и невесты, но образ вселенской матери, возможно, восходит к гностическим источникам.

Во время Гражданской войны хлыстовская «евхаристия шаманов» отдавала жутковатым шутовством. Эта одержимость помешала поэту сразу разглядеть, кто такие большевики, он стал испытывать «грозового Ленина». Важно уловить момент перелома, это середина 1920-х гг. До этого момента сочинения Клюева бестрагедийны. Затем укрупняется мотив тёмного переорождения родины: на месте потаённой Руси предстала отталкивающая «Рассея-тёща». «Песнь о великой матери» (1931–1933 гг.) представила картину торжества адских сил: «Безбожие свиной хребёт О звёзды утренние чешет, И в зыбуны косматый леший Народ развенчанный ведёт» [1. С. 779] – это вселенски значимое событие. Итоговые произведения Клюева воплощают

апокалиптическую картину, осознание тяжкого обрыва русской истории: «*К нам вести горькие пришли, что больше нет родной земли*» [1. С. 773].

Пафос стихотворений Клюева 1930-х гг. – покаяние. Богооставленность понята как наказание за прельщения: «*Плачь, русская земля, на свете Злосчастней нет твоих сынов,*

*И алмазтовый засов У врат лечебницы небесной Для них задвинут в срок безвестный...*» (незаконченный цикл «Разруха», 1934) [1, 629]. Финалом «Песни о великой матери», главной поэмы Клюева, можно считать видение шествия русских святых: небесные заступники возвращаются на иконы. «Погорельщина» также завершается мотивом преображения, спасения.

В последнем из дошедших до нас стихотворений «*Есть две страны...*» (1937) создан образ чаши-песни – преобразование мотива священного сосуда. В начале это глиняный кувшин, далее сосуд райской радости, затем – окончательное осознание – сосуд, сохраняемый до дня всеобщего преображения.

И первой песенкой моей,  
Где брачной чашею лилея,  
Была: «Люблю тебя, Рассея,  
Страна грачиных озимей!»

[1. С. 632]

Ангел вторит, благословляя языческий Овсень, значит, творчество направляла божественная воля: «*И ангел вторил: “Буди, буди! Благословен родной овсень! Его, как розы в сосуде, Блюдет Христос на оный день!”*» [1. С. 632]. Лейтмотив избранничества преображается, отделяется от величального пафоса и наполняется трагическим: это избранничество на страдание. Остаётся и другой лейтмотив лирики Клюева – прикосновение к тайному знанию, но теперь речь идёт о тайне божественного замысла. Лирический герой в ситуации национальной катастрофы читает знаки судьбы. Силы ада вышли из тьмы и попирают родину, но душа у земледельческой страны христианская, тайну её хранит Христос до дня разрешения всех бед и противоречий. Даже тёмная *Рассея* – «страна грачиных озимей».

Николай Клюев – литератор третьей фазы жизни национальной культуры (по К. Леонтьеву) – фазы всесмешения и религиозных химер. Эпоха неогностицизма в России была преддверием социальной катастрофы. Одни строили проекты очищения мира, другие мечтали в корне перестроить человека. Переход поэта от гностической ереси к религиозному традиционализму – недостаточно изученная тема. Этому перелому до сих пор не придают должного значения: так действует гипнотическое притяжение мифемы «Серебряный век». «*В художнике, как в лицедее, гнездятся тысячи личин*» – это девиз эпохи жизнотворчества. Порой кажется, что Клюев собрал все модные ереси Серебряного века. Многие новейшие статьи о нём дышат полусознательной апологией сектантства и гностицизма. В христианском понимании, путь Клюева – освобождение от хлыстовской одержимости, от гностического проекта исправления мира. Звание религиозного поэта вполне заслужено им, но рассуждения на эту тему ведутся без должного понимания. Взятый в целом, путь Клюева учит не бесконечному погружению в игру, а пониманию истоков нашей трагедии, осмыслению ослепляющего русского опыта.

*Литература*

1. *Клюев Н.* Сердце Единорога: Стихотворения и поэмы. СПб.: Изд-во Христиан. гум. ин-та, 1999.
2. *Клюев Н.* Словесное древо: Проза. СПб.: Росток, 2003.
3. *Михайлов А.И.* Поэтический космос Николая Клюева // Вытегорский вестник. Клюевские чтения в Вытегре. 1994. № 1.
4. *Семёнова С.* Русская поэзия и проза 1920–1930-х гг.: Поэтика – Видение мира – Философия. М.: ИМЛИ, 2001.
5. *Мельников П.И.* (Печерский А.) Собрание сочинений: в 8 т. М.: Худож. лит., 1976. Т. 8.
6. *Ремизов А.* Собрание сочинений: в 10 т. М.: Рус. книга, 2000. Т. 8.